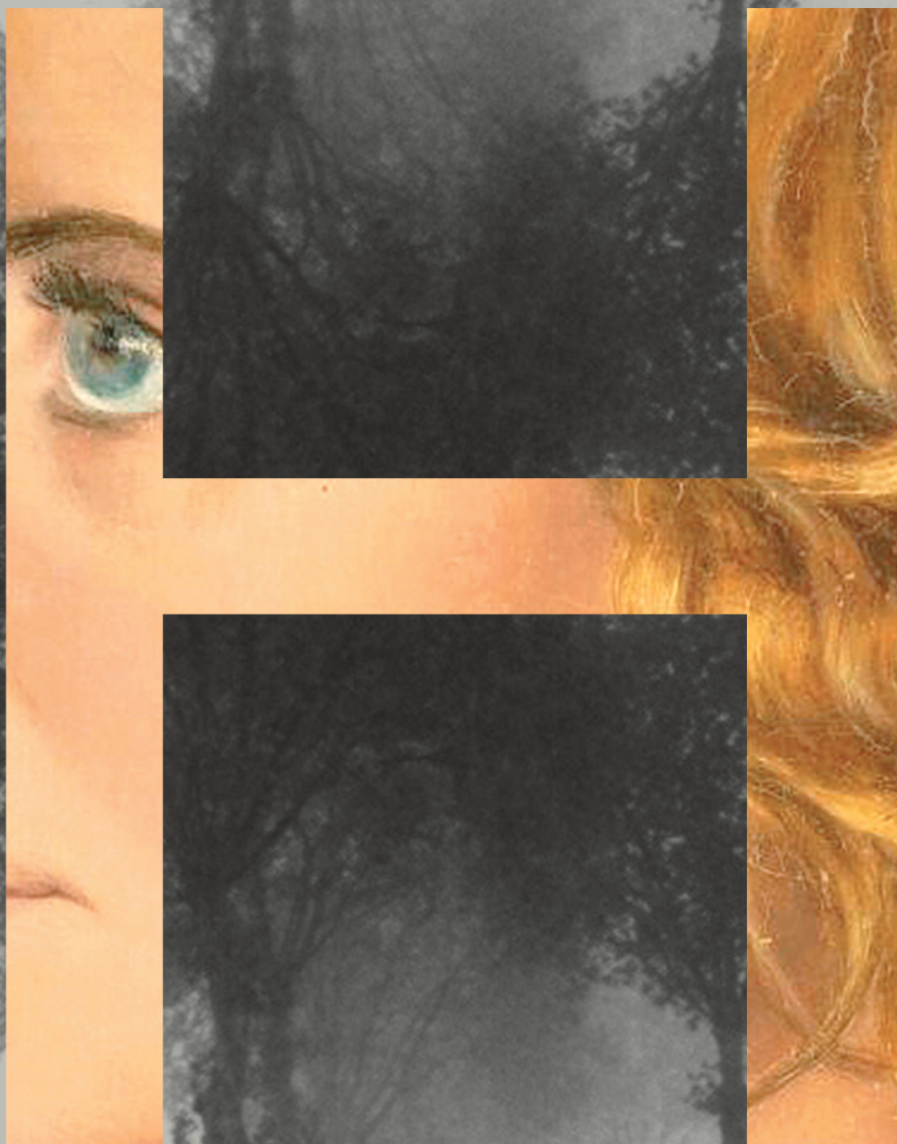


Владимир
Набоков



CoRpus

Камера
обскура

Владимир Набоков

Камера обскура

«Corpus (ACT)»

1932

УДК 821.161.1-31(73)
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Набоков В. В.

Камера обскура / В. В. Набоков — «Corpus (АСТ)», 1932

ISBN 978-5-17-137389-4

«Камера обскура» (1933) – пятый роман Владимира Набокова, написанный в Берлине и опубликованный под псевдонимом В. Сирин. Слепая страсть богатого искусствоведа Бруно Кречмара к шестнадцатилетней натурщице Магде, мечтающей о роскошной жизни и кинематографической карьере, приводит героя к потере семьи, нравственной катастрофе и физической слепоте. Обманутый и беспомощный Кречмар становится игрушкой жестокого любовника Магды карикатуриста Роберта Горна. Поразившая читателей и критиков живописная точность деталей, психологическая выверенность характеров, новизна повествовательных приемов и та беспощадность настоящего художника, с какой Набоков трактует свою тему, предвосхитили другой его знаменитый роман о губительной страсти – «Лолиту». В формате PDF А4 сохранён издательский дизайн.

УДК 821.161.1-31(73)
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-137389-4

© Набоков В. В., 1932
© Corpus (АСТ), 1932

Содержание

От редактора	6
I	7
II	9
III	12
IV	18
V	21
VI	25
VII	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Владимир Набоков

Камера обскура

Copyright © 1932 by Vladimir Nabokov

All rights reserved

© А. Бабилов, редакторская заметка, примечания, 2021

© А. Бондаренко, Д. Черногаев, художественное оформление, макет, 2021

© ООО «Издательство Аст», 2021

Издательство CORPUS ®

* * *

От редактора

В феврале 1931 г. Владимир Набоков закончил первую редакцию нового романа под названием «Райская птица», охарактеризовав его в письме к матери как «чрезвычайно занимательный» роман «из немецкой жизни», в котором «много живописного и похабного». В конце мая 1931 г., значительно отойдя от изначального замысла и дав роману новое латинское название «Camera obscura», Набоков начал готовить его к публикации. В 1931–1932 гг. отрывки из романа печатались в газетах «Русский инвалид» (Париж), «Наш век» (Берлин) и «Последние новости» (Париж); в 1932–1933 гг. он был опубликован частями (без двух глав и с некоторыми сокращениями) в парижском журнале «Современные записки». Отдельным изданием, под названием «Камера обскура», роман был выпущен в 1933 г. берлинским издательством «Парабола» в сотрудничестве с «Современными записками».

Изменив имена героев, внося различные уточнения и дополнения, Набоков перевел роман на английский язык и опубликовал его в 1938 г. в американском издательстве «The Bobbs-Merrill Company» под названием «Laughter in the Dark» («Смех во тьме»).

Печатается по изданию 1933 г. с восстановлением двух выпавших фрагментов по тексту указанных газетных и журнальных публикаций.

I

Приблизительно в 1925 году размножилось по всему свету милое, забавное существо – существо теперь уже почти забытое, но в свое время, т. е. в течение трех-четырёх лет, бывшее вездесущим, – от Аляски до Патагонии, от Маньчжурии до Новой Зеландии, от Лапландии до мыса Доброй Надежды, словом, всюду, куда проникают цветные открытки, – существо, носившее симпатичное имя: Cheery¹.

Рассказывают, что его (или вернее: ее) происхождение связано с вопросом о вивисекции. Художник Роберт Горн, проживавший в Нью-Йорке, однажды завтракал со случайным знакомым – молодым физиологом. Разговор коснулся опытов над живыми зверями. Физиолог, человек впечатлительный, еще не привыкший к лабораторным кошмарам, выразил мысль, что наука не только допускает изощренную жестокость к тем самым животным, которые в иное время возбуждают в человеке умиление своей пухлостью, теплотой, ужимками, – но еще входит как бы в азарт – распинает живьем и кромсает куда больше особей, чем в действительности ей необходимо. «Знаете что, – сказал он Горну, – вот вы так славно рисуете всякие занятные штучки для журналов; возьмите-ка и пустите, так сказать, на волны моды какого-нибудь многострадального маленького зверя, например морскую свинку. Придумайте к этим картинкам шуточные надписи, где бы этак вскользь, легко упоминалось о трагической связи между свинкой и лабораторией. Удалось бы, я думаю, не только создать очень своеобразный и забавный тип, но и окружить свинку некоторым ореолом модной ласки, что и обратило бы общее внимание на несчастную долю этой, в сущности, милейшей твари». – «Не знаю, – ответил Горн, – они мне напоминают крыс. Бог с ними. Пускай пищат под скальпелем». Но как-то раз, спустя месяц после этой беседы, Горн, в поисках темы для серии картинок, которую просило у него издательство иллюстрированного журнала, вспомнил совет чувствительного физиолога, – и в тот же вечер легко и быстро родилась первая морская свинка Чипи. Публику сразу привлекло, мало что привлекло – очаровало, хитренькое выражение этих блестящих бисерных глаз, круглота форм, толстый задок и гладкое темя, манера сусликом стоять на задних лапках, прекрасный крап, черный, кофейный и золотой, а главное – неуловимое, прелестно-смешное нечто, фантастическая, но весьма определенная жизненность, – ибо Горну посчастливилось найти ту карикатурную линию в облике данного животного, которая, являя и подчеркивая все самое забавное в нем, вместе с тем как-то приближает его к образу человеческому. Вот и началось: Чипи, держащая в лапках череп грызуна (с этикеткой: *Cavia sobaja*²) и восклицая «Бедный Йорик!»; Чипи на лабораторном столе, лежащая брюшком вверх и пытающаяся делать модную гимнастику – ноги за голову (можно себе представить, сколь многого достигли ее короткие задние лапки); Чипи стоймя, беспечно обстригающая себе коготки подозрительно тонкими ножницами, – причем вокруг валяются: ланцет, вата, иголки, какая-то тесьма... Очень скоро, однако, нарочитые операционные намеки совершенно отпали, и Чипи начала появляться в другой обстановке и в самых неожиданных положениях, – откалывала чарльстон, загорала до полного меланизма на солнце и т. д. Горн живо стал богатеть, зарабатывая на репродукциях, на цветных открытках, на фильмовых рисунках, а также на изображениях Чипи в трех измерениях, ибо немедленно появился спрос на плюшевые, тряпичные, деревянные, глиняные подобию Чипи. Через год весь мир был в нее влюблен. Физиолог не раз в обществе рассказывал, что это он дал Горну идею морской свинки, но ему никто не верил, и он перестал об этом говорить.

В начале 1928 года в Берлине знатоку живописи Бруно Кречмару, человеку очень, кажется, сведущему, но отнюдь не блестящему, пришлось быть экспертом в пустячном, прямо

¹ От *англ.* cheep – писк (мышей, птенцов). (Здесь и далее – прим. ред.)

² Морская свинка (*лат.*).

даже глупом деле. Модный художник Кок написал портрет фильмовой артистки Дорианны Карениной. Фирма личных кремов приобрела у нее право помещать на плакатах репродукцию с портрета в виде рекламы своей губной помады. На портрете Дорианна держала прижатой к голому своему плечу большущую плюшевую Чипи. Горн из Нью-Йорка тотчас предъявил фирме иск.

Всем прикосновенным к этому делу было в конце концов важно только одно – побольше пошуметь: о картине и об актрисе писали, помаду покупали, а Чипи, уже теперь тоже – увы! – нуждавшаяся в рекламе, дабы оживить хладевшую любовь, появилась на новом рисунке Горна со скромно опущенными глазами, с цветком в лапке и с лаконической надписью «Noli me tangere»³. «Он, видимо, любит своего зверя, – этот Горн», – заметил однажды Кречмар, обращаясь к своему шурину Макс, добрейшему, тучному человеку, с угреватými складками кожи сзади над воротником. «Ты что, его лично знаешь?» – спросил Макс. «Нет, конечно нет, откуда же мне его знать? Он живет постоянно в Америке. А дело он выиграет, если доказать, что взоры глядящих на рекламу привлекаются больше зверьком, чем дамой». – «Какое дело?» – спросила Аннелиза, жена Кречмара.

Эта ее привычка задавать зря вопросы о предметах, не раз в ее присутствии обсуждавшихся, была следствием скорее нервности мысли, чем невнимания. Часто, задав рассеянный вопрос, Аннелиза, еще говоря, еще на разгоне слова, понимала уже, что давно сама знает ответ. Муж хорошо изучил эту привычку, и нисколько прежде она не сердила его, а лишь умиляла и смешила, и он, не отвечая, продолжал разговор с выжидательной улыбкой на губах, и ожидание обыкновенно оправдывалось, – жена почти сразу отвечала сама на свой вопрос. Но теперь, в этот именно день, в этот мартовский день, Кречмар, трепещущий от странных, тайных переживаний, вот уже неделю мучивших его, проникся вдруг необычайным раздражением. «Что ты, с луны, что ли, свалилась?» – воскликнул он, а жена махнула рукой и сказала: «Ах да, я уже вспомнила». – «Не так быстро, мое дитя, не так быстро», – тут же обратилась она к дочке, восьмилетней Ирме, которая пожирала свою порцию шоколадного крема. «С точки зрения юридической...» – начал Макс, пытая сигарой. Кречмар подумал: «Какое мне дело до этого Горна, до рассуждений Макса, до шоколадного крема... Со мной происходит нечто невероятное. Надо затормозить, надо взять себя в руки...»

Было это и впрямь невероятно, – особенно невероятно потому, что Кречмар в течение девяти лет брачной жизни не изменил жене ни разу, – по крайней мере действительно ни разу не изменил. «Собственно говоря, – подумал он, – следовало бы Аннелизе все сказать, или ничего не сказать, но уехать с ней на время из Берлина, или пойти к гипнотизеру, или, наконец, как-нибудь истребить, изничтожить...» Это была глупая мысль. Нельзя же в самом деле взять браунинг и застрелить незнакомку только потому, что она приглянулась тебе.

³ Не прикасайся ко мне (лат.).

II

Кречмар был несчастен в любви, несчастен и неудачлив, несмотря на привлекательную наружность, на веселость обхождения, на живой блеск синих, выпуклых глаз, – несмотря также на умение образно говорить (он слегка заикался, и это придавало его речи прелесть), несмотря, наконец, на унаследованные от отца земли и деньги. В студенческие годы у него была связь с пожилой дамой, тяжело обожавшей его и потом во время войны посылавшей ему на фронт носки, фуфайки и длинные, страстные, неразборчивые письма на шершаво-желтой бумаге. Затем была история с женой одного врача, которая была довольно хороша собой, томна и тонка, но страдала пренеприятной женской болезнью. Затем в Бад-Гомбурге – молодая русская дама с чудесными зубами, которая как-то вечером, в ответ на любовные увещания, вдруг сказала: «А ведь у меня вставная челюсть, я ее на ночь вынимаю. Хотите сейчас покажу, если не верите». – «Не надо, зачем же», – пробормотал Кречмар и на следующий день уехал. Наконец, в Берлине была некрасивая, навязчивая женщина, которая приходила к нему ночевать три раза в неделю и рассказывала подробно и длительно все свое прошлое, без конца возвращаясь к одному и тому же и скучно вздыхая в его объятиях и повторяя при этом единственное французское слово, которое она знала: «C'est la vie»⁴. Между этими довольно неудачными, вялыми романами, и во время них, были сотни женщин, о которых он мечтал, с которыми не удавалось как-то познакомиться и которые проходили мимо, оставив на день, на два ощущение невыносимой утраты.

Он женился, – не то чтоб не любя жену, но как-то мало ею взволнованный: это была дочь театрального антрепренера, миловидная, бледноволосая барышня, с бесцветными глазами и прыщиками на переносице, – кожа у нее была так нежна, что от малейшего прикосновения оставались на ней розовые отпечатки. Он женился потому, что как-то так вышло, – чрезвычайно пособила и поездка в горы с нею, с ее братом и с какой-то их необыкновенно атлетической теткой, сломавшей себе наконец ногу в Понтрезине. Что-то такое милое, легкое было в Аннелизе, так она хорошо смеялась, словно тихо переливалась через край. Они повенчались в Мюнхене, дабы избежать наплыва берлинских знакомых. Цвели каштаны. Один из лакеев в гостинице умел говорить на восьми языках. У жены был нежный маленький шрам – след аппендицита.

Она была ласкова, послушна, тиха, но изредка на нее находили припадки стыдливой, нервной страстности, и тогда Кречмару казалось, что никаких других женщин ему не надобно. Вскоре она забеременела, заходила вразвалку, пристрастилась к снегу, который ела пригоршнями, быстро сгребая его с перил палисадника или со спинки скамьи, когда никто не смотрел. Он испытывал к ней мучительную, безвыходную нежность, заботился о ней, – чтоб она ложилась рано, не делала резких движений, – а по ночам ему снились какие-то молоденькие полуголые вены и пустынный пляж, и ужасная боязнь быть застигнутым женой. По утрам Аннелиза рассматривала в зеркале свой конусообразный живот, удовлетворенно и таинственно улыбаясь. Наконец ее увезли в клинику, и Кречмар недели три жил один, терзаясь, не зная, что делать с собой, шалея от двух вещей, – от мысли, что жена может умереть, и от мысли, что, будь он не таким трусом, он нашел бы в каком-нибудь баре женщину и привел бы ее в свою пустую спальню.

Она рожала очень долго и болезненно. Кречмар ходил взад и вперед по длинному, белому коридору больницы, отправлялся курить в уборную и потом опять шагал, сердясь на румяных, шуршащих сестер, которые все пытались загнать его куда-то. Наконец, из ее палаты вышел ассистент и угрюмо сказал одной из сестер: «Все кончено». У Кречмара перед глазами

⁴ Такова жизнь (*фр.*).

появился мелкий черный дождь, вроде мерцания очень старых кинематографических лент. Он ринулся в палату. Оказалось, что Аннелиза благополучно разрешилась от бремени.

Девочка была сперва красненькая и сморщенная, как воздушный шарик, когда он уже выдыхается. Скоро она обтянулась, а через год начала говорить. Теперь, спустя восемь лет, она говорила гораздо меньше, ибо унаследовала приглушенный нрав матери, – и веселость у нее была тоже материнская, – особая, ненавязчивая веселость, когда человек словно радуется самому себе, тихо развлекается собственным существованием.

И в продолжение всех этих лет Кречмар оставался жене верен. Он дивился своей двойственности, он чувствовал, что, поскольку может любить человека, он любит жену по-настоящему, крепко и нежно, – и во всех вещах, кроме сокровенной, бессмысленной жажды обладания какими-то молоденькими красавицами, которых все равно никогда, никогда не коснешься, Кречмар был с женой откровенен: она читала все его письма, получаемые и отправляемые, так как была по-житейски любопытна, спрашивала о подробностях его довольно случайных дел, связанных с аукционами картин, экспертизами, выставками, – и потом задавала обычные свои вопросы, на которые сама отвечала. Были очень удачные поездки за границу, в Италию, на юг Франции, были детские болезни Ирмы, были, наконец, прекрасные, нежные вечера, когда Кречмар с женой сидел на балконе и думал о том, как незаслуженно счастлив. И вот, после этих выдержанных лет, в расцвете тихой и мягкой жизни, близясь к концу своего четвертого десятка, Кречмар вдруг почувствовал, что на него надвигается то самое невероятное, сладкое, головокружительное и несколько стыдное, что подстерегало и дразнило его с отроческих лет.

Как-то в марте (за неделю до разговора о морской свинке) Кречмар, направляясь пешком в кафе, где должен был встретиться в десять часов вечера с деловым знакомым, заметил, что часы у него непостижимым образом спешат, что теперь только половина девятого. Возвращаться домой на другой конец города было, конечно, бессмысленно, сидеть же полтора часа в кафе, слушать громкую музыку и, мучась, исподтишка, смотреть на чужих любовниц нисколько его не прельщало. Через улицу горела красными лампочками вывеска маленького кинематографа, обливая сладким малиновым отблеском снег. Кречмар мельком взглянул на афишу (пожарный, несущий желтоволосую женщину) и взял билет. К кинематографу он вообще относился серьезно и даже сам собирался кое-что сделать в этой области, – создать, например, фильму исключительно в рембрандтовских или гойевских тонах. Как только он вошел в бархатный сумрак зальца (первый сеанс подходил к концу), к нему быстро скользнул круглый свет электрического фонарика и так же плавно и быстро повел его по чуть пологой темноте. Но в ту минуту, когда фонарик направился на билет в его руке, Кречмар заметил озаренное сбоку лицо той, которая наводила свет, и пока он за ней шел, смутно различал ее фигуру, походку, чуял шелестящий ветерок. Садясь на крайнее место в одном из средних рядов, он еще раз взглянул на нее и увидел опять, что так его поразило, – чудесный продолговатый блеск случайно освещенного глаза и очерк щеки, нежный, тающий, как на темных фонах у очень больших мастеров. Она, отступив, смешалась с темнотой, и Кречмара охватили вдруг скука и грусть. Глядеть на экран было сейчас ни к чему, – все равно это было непонятное разрешение каких-то событий, которых он еще не знал (...кто-то, плечистый, слепо шел на пятившуюся женщину...). Было странно подумать, что эти непонятные персонажи и непонятные действия их станут понятными и совершенно иначе им воспринимаемыми, если он просмотрит картину с начала. Интересно знать, – вдруг подумал Кречмар, – смотрят ли вообще капельдинерши на экран, или все им осточертело?

Как только замолк рояль и в зальце рассвело, он опять ее увидел: она стояла у выхода, еще касаясь складки портьеры, которую только что отдернула, и мимо нее, теснясь, проходили люди, уже насытившиеся световой простоквашей. Одну руку она держала в кармане узорного передника. На лицо ее Кречмар смотрел прямо с каким-то испугом. Прелестное, мучительно

прелестное лицо. Ничего оно не выражало, кроме, быть может, утомления. Ей было с виду пятнадцать-шестнадцать лет.

Затем, когда зальце почти опустело и начался прилив свежих, ясноглазых людей, – она несколько раз проходила совсем рядом, и вблизи она была еще милее. Он отворачивался, смотрел по сторонам, так как было слишком тягостно длить взгляд, направленный на нее, и ему вспомнилось, сколько раз красота проходила мимо него и пропадала бесследно.

С полчаса он просидел в темноте, выпуклыми глазами уставившись на экран. Она подняла для него складку портьеры. «Взгляну!» – подумал он с некоторым отчаянием. Ему показалось, что губы у нее легонько дрогнули. Она опустила складку. Кречмар вышел и вступил в малиновую лужу, – снег таял, ночь была сырая, с теплым ветром.

Через три дня он не стерпел и, чувствуя стыд, раздражение и вместе с тем какой-то смутно рокошующий восторг, отправился вновь в «Аргус» и опять попал к концу сеанса. Все было как в первый раз: фонарик, продолговатый луиниевский глаз, ветерок, темнота, потом очаровательное движение руки, откидывающей рывком портьеру. «Дюжинный Дон Жуан сегодня же с ней бы познакомился», – беспомощно подумал Кречмар. На экране, одетая в тютю, резвилась морская свинка Чипи, изображая русский балет. За этим следовала картина из японской жизни «Когда цветут вишни». Выходя, Кречмар хотел удостовериться, узнает ли она его. Взгляда ее он не поймал. Шел дождь, блестел красный асфальт.

Если б он не сделал того, чего раньше не делал никогда, – попытки удержать мелькнувшую красоту, не сразу сдаться, чуть-чуть на судьбу принажать, – если б он второй раз не пошел в «Аргус», то, быть может, ему удалось бы осадить себя вовремя. Теперь же было поздно. В третье свое посещение он твердо решил улыбнуться ей, однако так забилося сердце, что он не попал в такт, промахнулся. На другой день был к обеду его шурин, говорили как раз об иске Горна, дочка с некрасивой жадностью пожирала шоколадный крем, жена ставила вопросы невпопад. «Что ты, с луны, что ли, свалилась?» – сказал он и запоздалой улыбкой попытался смягчить выказанное раздражение. После обеда он сидел с женой рядом на широком диване, мелкими поцелуями мешал ей рассматривать «Die Dame»⁵ и глухо про себя думал: «Какая чепуха... Ведь я счастлив... Чего же мне еще? Никогда больше туда не пойду».

⁵ Женщина (нем.). Дамский журнал.

III

Ее звали Магда Петерс, и ей было вправду только шестнадцать лет. Ее родители промышляли швейцарским делом. Отец, контуженный на войне, уже седоватый, постоянно дергал головой и впадал по пустякам в ярость. Мать, еще довольно молодая, но рыхлая женщина, холодного и грубого нрава, с ладонью, всегда полной потенциальных оплеух, обычно ходила в тугом платочке, чтобы при работе не пылились волосы, но после большой субботней уборки (производимой главным образом пылесосом, который остроумно совокуплялся с лифтом) наряжалась и отправлялась через улицу в гости. Жильцы недолюбливали ее за надменность, за деловую манеру требовать у входящего, чтобы он вытирал ноги о мат и не ступал по мрамору (которого, впрочем, было немного). Ей часто снилась по ночам сказочно-великолепная, белая как сахар лестница и маленький силуэт человека, уже дошедшего доверху, но оставившего на каждой ступени большой черный подошвенный отпечаток, левый, правый, левый, правый... Это был мучительный сон.

Отто, Магдин брат, был старше сестры на три года, работал теперь на велосипедной фабрике, презрительно относился к бюргерскому республиканству отца и, сидя в ближнем кабаке, рассуждал о политике, опускал с громовым стуком кулак на стол, восклицая: «Человек первым делом должен жрать, да!» Такова была главная его аксиома, – сама по себе довольно правильная.

Магда в детстве ходила в школу, и там ей было легче, чем дома, где ее били много и зря, так что оборонительный подъем локтя был самым обычным ее жестом. Это, впрочем, не мешало ей расти веселой и бойкой девочкой. Когда ей было лет восемь, ее до боли ущипнул без всякой причины почтенный старик, живший в партере. О ту пору она любила участвовать в крикливой и бурной футбольной игре, которую затевали мальчишки посреди мостовой. Десяти лет она научилась ездить на велосипеде брата и, голорукая, со взлетающей черной косичкой, мчалась взад и вперед по своей улице, весело вскрикивая, а потом останавливалась, уперевшись одной ногой в край панели и о чем-то раздумывая. В двенадцать лет она немного угомонилась, и любимым ее занятием сделалось стоять у двери, шептаться с дочкой угольщика о женщинах, шлявшихся к одному из жильцов, или смотреть на прохожих, отмечать платья и шляпы. Как-то она нашла на лестнице потрепанную сумочку, а в сумочке мыльце с приставшим волоском и полдюжины непристойных открыток. Как-то ее поцеловал в открытую шею один из гимназистов, еще недавно старавшихся сбить ее с ног во время игры. Как-то, среди ночи, с ней случилась истерика, и ее облили водой, а потом драли.

Через год она уже была чрезвычайно мила собой, носила короткое, ярко-красное платьице и была без ума от кинематографа. Появился в супротивном доме молодой человек, кудрявый, в пестрой фуфайке, который по вечерам облокачивался в окне на подушку и улыбался ей издали, – но скоро он съехал.

Впоследствии она вспоминала то время жизни с томительным и странным чувством, – эти светлые, теплые, мирные вечера, треск запираемых лавок, отец сидит верхом на стуле и курит трубку, поминутно дергая головой, словно энергично отрицая что-то, мать судачит о причудах жильцов с соседней швейцарихой («я ему тогда сказала... он мне тогда сказал...»), госпожа фон Брок возвращается домой с покупками в сетке, погода проходит горничная Лизбет с левреткой и двумя жесткошерстными фоксами, похожими на игрушки... Вечереет. Вот брат с двумя-тремя товарищами, они мимоходом обступают ее, немного теснят, хватают за голые руки, у одного из них глаза как у Файта. Улица, еще освещенная низким солнцем, затихает совсем. Только напротив двое лысых играют на балконе в карты, – и слышен каждый звук.

Ей было едва четырнадцать лет, когда, подружившись с приказчицей из писчебумажной лавки на углу, Магда узнала, что у этой приказчицы есть сестра натурщица – совсем молодень-

кая девочка, а уже недурно зарабатывающая. У Магды появились прекрасные мечты. Каким-то образом путь от натурщицы до фильмовой дивы показался очень коротким. В то же приблизительно время она научилась танцевать и несколько раз посещала с подружкой заведение «Парадиз», бальный зал, где, под цимбалы и улюлюкание джаза, пожилые мужчины делали ей весьма откровенные предложения.

Однажды она стояла на углу своей улицы; к панели, резко затормозив, пристал несколько раз уже виденный молодой мотоциклист, с зачесанными назад бледными волосами, одетый в необыкновенную кожаную куртку, и предложил ее покатать. Магда улыбнулась, села сзади верхом, поправила юбку, и в следующее мгновение едва не задохнулась от быстроты. Он повез ее за город и там остановился. Был солнечный вечер, толкалась мошара. Кругом были вереск да сосны. Мотоциклист слез и сел рядом с ней на краю дороги. Он рассказал ей, что ездил недавно, вот так как есть, в Испанию, рассказал, что прыгал несколько раз с парашютом. Затем он ее обнял, стал тискать и очень мучительно целовать, и у нее было чувство, что все внутри тает и как-то разливается. Ей вдруг сделалось нехорошо, она побледнела и заплакала. «Можно целовать, – сказала она, – но нельзя так тормошить, у меня голова сегодня болит, я нездорова». Мотоциклист рассердился, молча пустил машину, довез Магду до какой-то улицы и там оставил. Домой она вернулась пешком. Брат, видевший, как она уезжала, треснул ее кулаком по шее, да еще пнул сапогом, так что она упала и больно стукнулась о швейную машину.

Зимой она наконец познакомилась с натурщицей, сестрой приказчицы, и с какой-то пожилой, важной на вид дамой, у которой было малиновое родимое пятно во всю щеку. Ее звали Левандовская. У этой Левандовской Магда и поселилась, в комнатке для прислуги. Родители, давно корившие ее дармоедством, были теперь довольны, что от нее освободились. Мать находила, что всякий труд, приносящий доход, честен. Брат, который, бывало, поговаривал не без угроз о капиталистах, покупающих дочерей бедняков, временно работал в Бреславле и к Левандовской нагрянул только гораздо позже, гораздо позже...

Она позировала сперва в большой классной комнате какой-то женской школы, а потом в настоящем ателье, где рисовали ее не только женщины, но и мужчины, некоторые совсем молодые. Все было, впрочем, очень чинно. Темноголовая, стриженная, совершенно голая, она боком сидела на коврик, опираясь на выпрямленную руку – так что на месте локтя был нежный морщинистый глазок, – сидела, чуть склонив худенький стан, в позе задумчивого изнеможения, и смотрела исподлобья, как рисовальщики поднимают и опускают глаза, и слушала легкий шорох карандашной штриховки или попискивание угля, – и скоро ей становилось скучно разбирать, кто сейчас воспроизводит ее ляжку, а кто голову, и было одно только желание: переменить положение тела. От скуки она выискивала самого привлекательного из художников, едва заметно щурилась всякий раз, когда он, с полуоткрытым от прилежания ртом, поднимал лицо. Ей никогда не удавалось смутить его, переключить его ум на другие, менее строгие, мысли, и это ее немножко сердило. Когда она прежде думала о том, как вот будет сидеть одинокая и голая под сходящимися взорами многих глаз, ей сдавалось, что будет стыдновато, но вместе с тем довольно приятно, как в теплой ванне. Оказывалось, что это вовсе не стыдно, а только утомительно и однообразно. Тогда она начала придумывать всякие штучки для своего развлечения, не снимала ожерелья с шеи, мазала губы, подводила свои и так подведенные тенью, и так очаровательные глаза, и раз даже чуть-чуть оживила кармином бледные кончики груди. Ей за это сильно влетело от Левандовской, которой кто-то насплетничал.

Магда, впрочем, лишь смутно понимала, чего именно добивается. Далеко-далеко маячил образ фильмовой дивы. Господин в нарядном пальто с котиковым воротником шалью подсаживал ее в лаковый автомобиль. Она покупала переливчатое, прямо-таки журчащее платье, которое сияло и лилось в витрине баснословного магазина. Сидеть часами нагишом и даже не получать в свою собственность портреты, которые с нее пишут, было довольно пресным делом. Она не замечала, что в каком-то смысле гений ее судьбы – гений кинематографический.

Присутствия и мановения его она не заметила даже в тот весенний вечер, когда Левандовская впервые упомянула о «влюбленном провинциале».

«Нельзя тебе жить без друга, – спокойно сказала Левандовская, попивая кофе. – Ты – бойкое дитя, ты – попрыгунья, ты без друга пропадешь. Он скромный человек, провинциальный житель, и ему нужна тоже скромная подруга в этом городе соблазнов и скверны».

Магда держала на коленях собаку Левандовской – толстую желтую таксу с сединой на морде и с длинной бородавкой на щеке. Она взяла в кулак шелковое ухо собаки и, не поднимая глаз, ответила:

«Ах, это успеется. Мне только пятнадцать. И зачем? Все это будет так – зря, я знаю этих господ».

«Ты дура, – сказала Левандовская с раздражением, – я тебе рассказываю не о шелопае, а о добром, щедром человеке, который видел тебя на улице и с тех пор только тобой и бредит».

«Какой-нибудь старичок», – заметила Магда и поцеловала собаку в лоб.

«Дура, – повторила Левандовская. – Ему тридцать лет, он бритый, шикарный, – шелковый галстук, золотой мундштук. У него только душа скромная».

«Гулять, гулять», – сказала Магда собаке, – та сползла на пол и потом, в коридоре, затрусила, держа тело бочком, как это делают все старые таксы.

Господин, о котором шла речь, не был ни провинциалом, ни скромным человеком, ни даже Мюллером (фамилия, под которой он представился). С Левандовской он познакомился через двух темпераментных коммивояжеров, с которыми играл в покер, по дороге из Гамбурга в Берлин. О цене сначала не упоминалось: сводня показала фотографию улыбающейся девочки, и Мюллер потребовал смотрин. В назначенный день Левандовская накупила пирожных, наварила много кофе, посоветовала надеть как раз то красное платье, которое Магде теперь казалось таким потрепанным, таким детским, и около шести раздался жданный звонок. «Чем я рискую, – в последний раз подумала Магда. – Если он собой дурен, то я ей так и скажу, а если нет, то я еще успею решить».

К сожалению, нельзя было так просто установить, дурен ли или хорош Мюллер. Странное, своеобразное лицо. Матово-черные волосы были небрежно причесаны на пробор сухой щеткой, на слегка впалые щеки как будто лег тонкий слой рисовой пудры. Блестящие рысы глаза и треугольные ноздри ни минуты не оставались спокойными, между тем как нижняя часть лица с двумя мягкими складками по бокам рта была, напротив, весьма неподвижна, – изредка только он облизывал глянцевитые толстые губы. На нем была замечательная голубая рубашка, яркий, как тропическое небо, галстук и сине-вороной костюм с широченными панталонами. Он великолепно двигался, поводя крепкими квадратными плечами, – это был высокий и стройный мужчина, Магда ждала совсем не такого и несколько потерялась, когда, сидя со скрещенными руками на твердом стуле и сквозь зубы разговаривая с Левандовской о достопримечательностях Берлина, Мюллер принял ее, Магду, потрошить взглядом; вдруг, перебив самого себя на полслове, он спросил ее резким, звенящим голосом, как ее зовут. Она сказала. «Ага, Магдалина», – произнес он с коротким смешком и, так же внезапно освободив ее от напора своего взгляда, продолжал свой глухой разговор с Левандовской.

Погодя он замолк, закурил и, отдирая прилипший к яркой, словно воспаленной, губе кусочек папиросной бумаги, сказал: «Идея, госпожа Левандовская. Возьмите на мой счет автомобиль и поезжайте в оперу, – у меня вот оказался свободный билет, вы как раз успеете».

Левандовская поблагодарила, степенно возразив, что сегодня устала и останется дома. «Можно вам сказать два слова?» – недовольно проговорил Мюллер и встал со стула. «Выпейте еще чашку», – спокойно предложила Левандовская. Он пожал плечами, окинул Магду каким-то хлещущим взглядом, но вдруг просиял добродушной улыбкой, сел на диван рядом с ней и принялся рассказывать серию анекдотов о каком-то своем приятеле певце, который, в «Лоэн-

грине», не успел сесть на лебедя и решил ждать следующего. Магда кусала губы и вдруг наклоняла голову, помирая со смеху. У Левандовской уютно трясясь бюст.

Он позволил себе роскошь медленного подступа, осторожных и ласковых взглядов, даже вздохов. Левандовская, получившая только небольшой задаток, а заломившая неслыханную цену, не отходила ни на шаг. С ее согласия Магда перестала позировать и проводила целые дни за вышивкой. Иногда, когда она вечером выводила собаку, Мюллер вырастал из сумерек и шел рядом с нею, и ее это так волновало, что она невольно ускоряла шаг, и забытая такса отставала, упорно и грустно ковыляя бочком, бочком. Левандовская вскоре почувяла эти встречи и стала выводить собаку сама.

Так прошло больше недели со дня знакомства. Однажды Мюллер решил принять чрезвычайные меры. Платить огромную сумму, которую просила сводня, было нелепо, раз дело выходило само собою. Придя вечером, он много наговорил смешного, выпил три чашки кофе, затем, улучив мгновение, подошел к Левандовской, поднял ее, быстрой, мелкой рысцой понес в ванную и, ловко переставив ключ, запер дверь. Левандовская была так поражена, что первые полминуты молчала, – потом, впрочем, принялась вопить, стучать и ухать всем телом в дверь. «Забирай свои вещи и айда», – обратился он к Магде, которая стояла среди гостиной, держась за голову.

Они поселились в хорошей комнате, снятой им накануне, и, едва переступив порог, Магда, с охотой, с жаром, даже с какой-то злостью, предалась судьбе, осаждавшей ее так давно, так упорно. Мюллер, впрочем, нравился ей совсем по-особенному, – было что-то неотразимое в его глазах, в голосе, в хватках, в его манере толстыми жаркими губами ездить вверх и вниз по ее спине, между лопатками. Он мало с ней разговаривал, часами сидел, держа ее у себя на коленях, посмеиваясь и о чем-то думая. Она не знала, какие у него дела в Берлине, кто он, – и каждый раз, когда он уходил, боялась, что он не вернется. Если не считать этой боязни, она была счастлива, до глупости счастлива, она мечтала, что сожитительство их будет длиться всегда. Кое-что он ей подарил, – парижскую шляпу, часики, – впрочем, не был чрезмерно щедр на подарки, зато водил ее в хорошие рестораны и в большие кинематографы, где она до слез хохотала над похождениями Чипи. Он так пристрастился к Магде, что часто, уже собираясь уходить, вдруг бросал шляпу в угол (эта привычка обращаться с дорогой шляпой ее немножко удивляла) и оставался. Все это продолжалось ровно месяц. Как-то утром он встал раньше обыкновенного и сказал, что должен уехать. Она спросила, надолго ли. Он уставился на нее, потом заходил по комнате в своей ослепительной малиново-лазурной пижаме, потирая руки, словно намыливал их. «Навсегда, навсегда», – сказал он вдруг и, не глядя на нее, стал одеваться. Она подумала, что он, может быть, шутит, и решила выждать, – откинула одеяло, так как было очень душно в комнате, и, вытянувшись, повернулась к стенке. «У меня нет твоей фотографии», – проговорил он, со стуком надевая башмаки. Потом она слышала, как он возится с чемоданом, защелкивает его. Еще через несколько минут: «Не двигайся», – сказал он, – и не смотри, что я делаю». «Застрелит», – почему-то подумала она, но не шелохнулась. Что он делал? Тишина. Она чуть двинула голым плечом. «Не двигайся», – повторил он. «Целится», – подумала Магда без всякого страха. Тишина продолжалась минут пять. В этой тишине бродил, спотыкаясь, какой-то маленький шуршащий звук, который казался ей знакомым, но почему знакомым? «Можешь повернуться», – проговорил он с грустью, но Магда лежала неподвижно. Он подошел, поцеловал ее в щеку и быстро вышел. Она пролежала в постели весь день. Он не вернулся.

На другое утро она получила телеграмму из Гамбурга: «Комната оплачена до июля прощай доннерветтер⁶ прощай». «Господи, как я буду жить без него?» – проговорила Магда вслух. Она мигом распахнула окно, решив одним прыжком с собою покончить. К дому напротив, звеня, подъехал красно-золотой пожарный автомобиль, собиралась толпа, из верхних окон

⁶ Черт возьми! (нем. Donnerwetter)

валил бурый дым, летели какие-то черные бумажки. Она так заинтересовалась пожаром, что отложила свое намерение.

У нее оставалось очень мало денег; с горя, как в хороших фильмах, она пошла шататься по танцевальным кафе. Вскоре она познакомилась с двумя японцами и, будучи слегка навеселе, согласилась у них переночевать; утром она попросила двести марок, они ей дали три с полтиной и вытолкали вон, – после чего она решила быть осмотрительнее.

Однажды к ней подсел толстый старый человек, с носом как гнилая груша и с коричневыми точками сплошь по всей лысине, и сказал: «Приятно опять встретиться, помните, барышня, как мы резвились на пляже, в Герингсдорфе?» Она, смеясь, ответила, что он ошибается. Старик спросил, что она желает пить. Потом он поехал провожать ее и в темноте таксомотора сделался очень косноязычен и гадок. Она выскочила. Старик вышел тоже и, не смущаясь присутствием шофера, умолял о свидании. Она дала ему номер своего телефона. Когда он ей оплатил комнату до ноября да еще дал денег на котиковое пальто, она позволила ему остаться у нее на ночь. С ним оказалось сначала очень легко, он сразу засыпал, после краткого и слабого объятья, и спал непробудно до рассвета. Потом он начал требовать всяких странных новшеств. Гардероб ее пополнился двумя новыми платьями. Неожиданно он пропустил назначенное свидание, через несколько дней она позвонила к нему в контору и узнала, что он скончался.

Воспоминание о старике было омерзительно. Такого опыта она решила не повторять. Продав шубу, она дотянула до февраля. Накануне этой продажи ей страстно захотелось показаться родителям. Она подъехала к дому в таксомоторе. День был субботний, мать полировала ручку входной двери. Увидев дочь, она так и замерла. «Боже мой!» – воскликнула она с чувством. Магда молча улыбнулась, села снова в таксомотор и уже в окно увидела брата, который выбежал на панель, кричал ей что-то вслед – вероятно, угрозы.

Она переехала в комнату подешевле, вечерами неподвижно сидела на краю кушетки в нарастающей темноте, подпирая виски ладонями и пыхтя папиросой. Хозяйка, пожилая, неопределенных занятий, заглядывала к ней, сердобольно ее расспрашивала, рассказывала, что у ее родственника маленький кинематограф, приносящий неплохой доход. Зима была холодная, деньги шли на убыль. «Что же будет дальше?» – думала Магда. Как-то, в бодрый и дерзкий день, она ярко нарядилась и, выбрав самую звучную по названию кинематографическую контору на Фридрихштрассе, добилась того, что директор ее принял. Он оказался пожилым господином с черной повязкой на правом глазу и с пронзительным блеском в левом. Магда начала с того, что, дескать, уже много играла в провинции, получала хорошие роли... «В кино?» – спросил тот, ласково глядя на ее возбужденное лицо. Она назвала какую-то фирму, какую-то картину – очень убедительно и даже надменно, – оттого что все повторяла про себя: «Как он смеет не знать меня, как он смеет сомневаться...» Последовало молчание. Директор прищурил единственный видимый глаз и сказал: «А знаете, – ведь вам повезло, что вы попали именно ко мне. Любой мой коллега соблазнился бы вашей молодостью, наобещал бы вам горы добра и потребовал бы от вас очень определенного, очень банального задатка. Затем он бы вас бросил. Я человек немолодой, много видевший, у меня дочка, вероятно, старше вас, – и вот позвольте мне вам сказать: вы никогда актрисой не были и, вероятно, не будете. Пойдите домой, подумайте хорошенько, посоветуйтесь с вашими родителями...»

Магда хлестнула перчаткой по краю стола, встала и с искаженным лицом вышла вон. В том же доме была еще одна фирма. Там ее просто не приняли. В третьем месте ей сказали, – чтобы как-нибудь отделаться от нее: «Оставьте ваш телефон». Она вернулась домой в бешенстве. Хозяйка сварила ей два яйца, гладила ее по плечу, пока Магда жадно и сердито ела, потом принесла бутылку коньяку, две рюмки и, налив их до краев, унесла бутылку. «Ваше здоровье, – сказала она, опять садясь за стол. – Все будет благополучно. Я как раз завтра увижу моего деверя, я с ним поговорю...»

Первое время Магду забавляла новая должность. Было, правда, немного обидно начинать кинематографическую карьеру не актрисой, даже не статисткой... К концу первой же недели ей уже казалось, что она всю жизнь только и делала, что указывала людям места. В пятницу, впрочем, была перемена программы, это ее оживило. Стоя в темноте, прислонясь к стенке, она смотрела на Грету Гарбо. Через два-три сеанса ей стало опять нестерпимо скучно. Прошла еще неделя. Какой-то посетитель, замешкав в дверях, странно посмотрел на нее – застенчивым и жалобным взглядом. Через два-три вечера он появился опять. Выглядел он довольно молодо, был отлично одет, косил на нее жадным голубым глазом... «Человек очень приличный, но размазня», – подумала Магда. Когда, появившись в четвертый или пятый раз, он пришел невпопад, то есть на фильм, которую уже раз видел, Магда почувствовала некоторое возбуждение. Вместе с тем ей было памятно предупреждение хозяина: «Один раз глазки – и вышвырну». Посетитель, однако, был удивительно робок. Выйдя как-то из кинематографа, чтобы отправиться домой, Магда увидела его неподвижно стоящим на той стороне улицы. Она засеменила, не оглядываясь, рассчитывая, что он перейдет наискосок и последует за ней. Этого, однако, не случилось: он исчез. Когда, через два дня, он опять пришел в «Аргус», был у него какой-то больной, затравленный, очень интересный вид. По окончании последнего сеанса Магда вышла, раскрывая зонтик. «Стоит», – отметила она про себя и перешла к нему, на ту сторону. Он двинулся, уходя от нее, как только заметил ее приближение. Сердце у него билось в гортани, не хватало воздуха, пересохла губы. Он чувствовал, как она идет сзади, и боялся ускорить шаг, чтобы не потерять счастья, и боялся шаг замедлить, чтобы счастье не перегнало его. Но, дойдя до перекрестка, Кречмар принужден был остановиться: проезжали гуськом автомобили. Тут она его перегнала, чуть не попала под автомобиль и, отскочив, ухватилась за его рукав. Засветился зеленый диск. Он нащупал ее локоть, и они перешли. «Началось, – подумал Кречмар, – безумие началось».

«Вы совершенно мокрый», – сказала она с улыбкой; он взял из ее руки зонтик, и она еще теснее прижалась к нему, и сверху барабанило счастье. Одно мгновение он побоялся, что лопнет сердце, – но вдруг полегчало, он как бы разом привык к воздуху восторга, от которого сперва задышался, и теперь заговорил без труда, с наслаждением.

Дождь перестал, но они все шли под зонтиком. У ее подъезда остановились, зонтик был отдан ей и закрыт. «Не уходите еще», – взмолился Кречмар и, держа руку в кармане пальто, попробовал большим пальцем снять с безымянного обручальное кольцо, – так, на всякий случай. «Постойте, не уходите», – повторил он и наконец судорожным движением освободился от кольца. «Уже поздно, – сказала она, – моя тетя будет сердиться». Кречмар подошел к ней вплотную, взял за кисти, хотел ее поцеловать, но попал в ее шапочку. «Оставьте, – пробормотала она, наклоняя голову. – Оставьте, это нехорошо». – «Но вы еще не уйдете, у меня никого нет в мире, кроме вас». – «Нельзя, нельзя», – ответила она, вертя ключом в замке и напирая на дверь. «Завтра я буду опять ждать», – сказал Кречмар. Она улыбнулась ему сквозь стекло.

Кречмар остался один, он, отдуваясь, расстегнул пальто, почувствовал вдруг легкость и наготу левой руки, поспешно надел еще теплое кольцо и пошел к таксомоторной стоянке.

IV

Дома ничего не изменилось, и это было странно: жена, дочь, Макс принадлежали точно другой эпохе, мирной и светлой, как пейзажи ранних итальянцев. Макс, весь день работавший в театральной своей конторе, любил отдыхать у сестры, души не чаял в племяннице и с нежным уважением относился к Кречмару, к его суждениям, к темным картинам по стенам, к шпинатному гобелену в столовой.

Кречмар, отпирая дверь своей квартиры, с замиранием, со сквозняком в животе, думал о том, как сейчас встретится с женой, с Максом, – не почуют ли они измену (ибо эта прогулка под дождем являлась уже изменой, – все прежнее было только вымыслом и снами), быть может, его уже заметили, выследили, – и он, отпирая дверь, торопливо сочинял сложную историю о молодой художнице, о бедности и таланте ее, о том, что ей нужно помочь устроить выставку... Тем живее он ощутил переход в другую, ясную, эпоху, которую он за один вечер так лихорадочно опередил, – и, после мгновенного замешательства от вида неизменившегося коридора, от белизны двери в глубине, за которой спала дочка, от честных плеч Максима пальто, любовно надетого горничной на плюшевую вешалку, от всех этих домашних знакомых примет, – наступило успокоение: все хорошо, никто ничего не знает. Он пошел в гостиную: Аннелиза в клетчатом платье, Макс с сигарой да еще старая знакомая, вдова барона, обедневшая во время инфляции и теперь торговавшая коврами и картинами... Неважно, что говорили, – важно только это ощущение повседневности, обыкновенности, простоты. И потом, в мирно освещенной спальне, лежа рядом с женой, Кречмар дивился своей двойственности, отмечал свою ненарушимую нежность к Аннелизе, – и одновременно в нем пробегала молниевидная мысль, что, быть может, завтра, уже завтра, да, наверное, завтра...

Но все это оказалось не так просто. И во второе свидание, и в последующие Магда искусно избегала поцелуев. Рассказывала она о себе немного, – только то, что сирота, дочь художника, живет у тетки, очень нуждается, хотела бы переменить свою утомительную службу. Кречмар назвался Шиффермюллером, и Магда с раздражением подумала: «Везет мне на мельников», – а затем: «Ой, врешь». Март был дождливый, ночные прогулки под зонтиком мучили Кречмара, он предложил ей как-то зайти в кафе. Кафе он выбрал маленькое, мизерное, – зато безопасное. У него была манера, когда он усаживался в кафе или ресторане, сразу выкладывать на стол портсигар и зажигалку. На портсигаре Магда заметила инициалы «Б. К.». Она промолчала, подумала и попросила его принести телефонную книгу. Пока он своей несколько мешковатой, разгильдяйской походкой шел к телефону, она быстро посмотрела на шелковое дно его шляпы, оставшейся на стуле, и прочла его имя и фамилию (необходимая мера против рассеянности художников при шапочном разборе). Кречмар, нежно улыбаясь, принес книгу, и, пользуясь тем, что он смотрит на ее шею и опущенные ресницы, Магда живо нашла его адрес и телефон и, ничего не сказав, спокойно захлопнула потрепанный, размякший голубой том. «Сними пальто», – тихо сказал Кречмар, впервые обратившись к ней на «ты». Она, не вставая, принялась вылезать из рукавов макинтоша, нагнув голову, наклоня плечи то вправо, то влево, и на Кречмара веяло фиалковым жаром, пока он помогал ей освободиться от пальто и глядел, как ходят ее лопатки, как собираются и расходятся складки смугловатой кожи на позвонках. Это продолжалось мгновение. Она сняла и шляпу, посмотрелась в зеркало и, посплюнув палец, пригладила на висках темно-каштановые акрошкёры⁷. Кречмар сел рядом с ней, не спуская глаз с этого лица, в котором все было прелестно – и жаркий цвет щек, и блестящие от ликера губы, и детское выражение удлинённых карих глаз, и чуть заметное пятнышко на пушистой скуле. «Если мне бы сказали, что за это меня завтра казнят, – подумал он, – я все равно бы

⁷ Кольцеобразные завитки на висках (от *фр.* *acrocche-coeur*).

на нее смотрел». Даже легкая вульгарность, берлинский перелив ее речи, ахи и смешки перенимали особое очарование у звучности ее голоса, у блеска белозубого рта, – и, смеясь, она сладко жмурилась. Он хотел взять ее руку, но она и этого не позволила. «Ты сведешь меня с ума», – пробормотал Кречмар. Магда хлопнула его по кисти и сказала, тоже на «ты»: «Веди себя хорошо, будь послушным».

Первой мыслью Кречмара на другое утро было: «Так дальше невозможно. Следует взять для нее комнату, – без тетки. Так устроить, чтобы ей не служить. Мы будем одни, мы будем одни. Обучать арсу аморису⁸. Она еще так молода. Удивительно, как это у нее нет жениха или друга...»

«Ты спишь?» – тихо спросила Аннелиза. Он притворно зевнул и открыл глаза. Аннелиза, в голубой ночной сорочке, сидела на краю постели и читала письма.

«Что-нибудь интересное?» – спросил Кречмар, глядя на ее пресно-белое предплечье.

«Он просит у тебя опять денег. Говорит, что жена и теща больны, что против него интригуют, – нужно дать».

«Да-да, непременно», – отвечал Кречмар, необычайно живо представив себе покойного отца Магды, – тоже, вероятно, старого, малодаровитого, разжеванного жизнью художника.

«А это – приглашение в “Палитру”, придется пойти. А это – из Америки».

«Прочти вслух», – попросил он.

«Глубокоуважаемый господин Кречмар. Мой поверенный сообщает мне о том живом и беспристрастном внимании, которое вы уделили делу о нарушении моих прав. Я предполагаю...»

Тут затрещал телефон на ночном столике. Аннелиза цокнула языком и взяла трубку. Кречмар, растерянно глядя на ее белые, пухлые пальцы, сжимающие черную трубку, вчуже слышал микроскопический голос, говоривший с другого конца.

«А, здравствуйте», – воскликнула Аннелиза и сделала мужу ту определенную, пучеглазую гримасу, по которой он всегда знал, что звонит баронесса, большая телефонница. Он потянулся за письмом из Америки, лежащим на перине, и посмотрел на подпись. Вошла Ирма, всегда приходившая по утрам здороваться с родителями. Она молча поцеловала отца, молча поцеловала мать, которая то слушала, то восклицала и порою кивала вместе с трубкой. «Чтобы никаких сюрпризов няне сегодня не было», – тихо сказал Кречмар дочке, намекая на какое-то недавнее прегрешение. Ирма улыбнулась. Она была некрасивая, со светлыми ресницами, с веснушками над бледными бровями, и очень худенькая.

«До свидания, спасибо, до свидания», – облегченно проговорила Аннелиза и звонко повесила трубку. Кречмар принялся за чтение письма. Аннелиза держала дочь за руки и что-то ей говорила, смеясь, целуя ее и слегка подергивая после каждой фразы. Ирма все улыбалась и скребла ногой по полу.

Опять затрещал телефон. Кречмар приложил трубку к уху.

«Здравствуй, Бруно Кречмар», – сказал незнакомый женский голос. «Кто говорит?» – спросил Кречмар и вдруг почувствовал, словно спускается на очень быстром лифте. «Нехорошо было меня обманывать, – продолжал голос, – но я тебя прощаю. Ты слушаешь? Я хотела только тебе сказать, что...» – «Ошибка, это другой», – хрипло сказал Кречмар и разъединил. В то же мгновение он с ужасом подумал, что, как он давеча слышал голос, просачивавшийся с того конца, и даже как будто различал слова, так и Аннелиза теперь могла все слышать. «Что это было? – с любопытством спросила она. – Отчего ты такой красный?»

«Какая-то дичь! Ирма, уходи, нечего тебе тут валандаться. Совершенная дичь. Уже десятый раз попадают ко мне по ошибке. Он пишет, что, вероятно, придет зимой в Берлин и хочет со мной познакомиться».

⁸ Наука любви (от *лат.* *ars amoris*).

«Кто пишет?»

«Ах, Господи, никогда ничего сразу не понимаешь. Ну, вот этот самый – карикатурист, из Америки. Этот самый Горн...»

«Какой Горн?» – уютно спросила Аннелиза.

V

Вечерняя встреча выдалась довольно бурная. Весь день Кречмар пробыл дома, боясь, что Магда позвонит опять. Это следовало в корне пресечь. Когда она вышла из «Аргуса», он прямо с того начал: «Послушай, Магда, я запрещаю тебе звонить ко мне. Это чорт⁹ знает что такое. Если я тебе не сообщил моей фамилии, значит, были к тому основания». – «Всего лучшего», – спокойно проговорила Магда и пошла, не оглядываясь. Он дал ей отойти, постоял, беспомощно глядя ей вслед. Какой промах, – надо было смолчать, она в самом деле подумала бы, что ошиблась... Тихонько обогнав ее, Кречмар пошел рядом. «Прости меня, – сказал он. – Не нужно на меня сердиться, Магда. Я без тебя не могу. Вот я все думал, – брось службу, это так утомляет тебя. Я богат. У тебя будет своя комната, квартира, все что хочешь».

«Я понимаю, в чем дело, – проговорила Магда холодным голосом. – Ты, вероятно, все-таки женат, – как я и думала сначала. Иначе ты не был бы со мной так груб по телефону».

«А если я женат, – спросил Кречмар, – ты со мной больше не будешь встречаться?»

«Мне какое дело? Надувай ее, ей должно быть полезно».

«Магда, не надо!» – воскликнул Кречмар, опешив.

«А ты меня не учи».

«Магда, послушай, это правда, – у меня жена и ребенок, – но я прошу тебя, – эти насмешки лишние... Ах, погоди, Магда!» – добавил он, всплеснув руками.

«Поди ты к дьяволу!» – крикнула она и захлопнула ему дверь в лицо.

«Погадайте мне», – сказала она хозяйке. Та вынула из ящика колоду карт, столь сальных, что из них можно было сварить суп. Появился богатый брюнет, потом козни, хлопоты, какая-то пирушка... «Надо посмотреть, как он живет, – думала Магда, облокотясь на стол. – Может быть, он все-таки шантрапа и не стоит связываться. Согласиться? Не рано ли?»

Через день она позвонила ему снова. Аннелиза была в ванной. Кречмар заговорил почти шепотом, поглядывая на дверь. Несмотря на боязнь, он испытывал большое счастье оттого, что Магда его простила. «Мое счастье, – сказал он, вытягивая губы, – мое счастье». – «Слушай, когда твоей жены сегодня не будет дома?» – спросила она со смехом. «Не знаю, – ответил Кречмар, похолодев, – а что?» – «Я хочу к тебе прийти на минутку». Он помолчал. Где-то стукнула дверь. «Я боюсь дольше говорить», – пробормотал Кречмар. «Какой ты трус. Помни, что если я к тебе приду, то поцелую». – «Сегодня не знаю, не выйдет, – сказал он через силу. – Если я сейчас повешу трубку, не удивляйся, вечером тебя увижу, мы тогда...» Он повесил трубку и некоторое время сидел неподвижно, слушая гром сердца. «Я действительно трус, – подумал он. – Она в ванной еще провозится с полчаса...»

«У меня маленькая просьба, – сказал он Магде при встрече. – Сядем в автомобиль, покатаемся». – «В открытый», – вставила Магда. «Нет, это опасно. Обещаю тебе хорошо себя вести», – добавил он, – любуясь при свете фонаря ее по-детски поднятым к нему лицом.

«Вот что, – заговорил он, когда они очутились в таксомоторе. – Я на тебя, конечно, не в претензии за то, что ты мне звонишь, но я прошу и даже умоляю тебя больше этого не делать, моя прелесть, мое сокровище – («Давно бы так», – подумала Магда), – во-вторых, объясни мне, как ты узнала мою фамилию». Она без всякой надобности солгала, что его, дескать, знает в лицо одна ее знакомая, которая их видела вместе на улице. «Кто такая?» – спросил с ужасом Кречмар. «Ах, простая женщина, родня, кажется, кухарки или горничной, служившей у тебя когда-то». Кречмар мучительно напряг память. «Я, впрочем, сказала ей, что она обозналась, – я умная девочка».

⁹ В настоящем издании сохраняются особенности орфографии Набокова (написание слов купэ, кашнэ, шалэ, джампер, мюзик-холль, шкаф, счастье и др.).

В автомобиле переливались пятнистые потемки, она сидела до одури близко, от нее шло какое-то блаженное, животное тепло, мимо окон проносился шумный сумрак ночного Тиргартена... «Я умру, если не буду ею обладать, или свихнусь», – подумал Кречмар и сказал: «В-третьих, насчет твоего переселения. Найди себе квартиру в две-три комнаты с кухней. Я за все заплачу. С условием, что ты мне позволишь к тебе заглядывать». – «Ты, кажется, забыл, Бруно, наш утренний разговор». – «Но это так опасно, – воскликнул Кречмар. – Вот, например, завтра я буду один приблизительно с четырех до шести. Но мало ли что может случиться...» Он себе представил, как жена, ненароком, воротится с дороги... Молодая художница, нужно ей помочь устроить выставку. «Но я же тебя поцелую, – тихо сказала Магда. – И знаешь, все в жизни всегда можно объяснить».

И он согласился. Около четырех Аннелиза, в новом желтом платье, очень нешедшем ей, наконец уехала с Ирмой на детский чай. Как она была жалка и доверчива. И этот ключочек в лоб... Бедная моя Аннелиза, бедная канарейка... Где принять? Пожалуй, в – кабинете, совершенно официально¹⁰.

Всякая мысль о Магде, о ее тонком отроческом сложении и шелковистой коже, всегда вызывала у него дрожь в ногах, желание застонать. Обещанное прикосновение казалось таким блаженством, что дальше некуда. Однако за этим еще открывалась новая, невероятная даль: там ждал его взгляда тот самый образ, который еще недавно множество молодых живописцев так равнодушно и плохо рисовали, поднимая и опуская глаза. Но об этих скучных солнечных часах в студиях Кречмар ровно ничего не знал. Мало того, – на днях старый доктор Ламперт показывал ему пачку рисунков углем, сделанных за последний год его сыном, и среди них был портрет голой стройной девочки с ожерельем на шее и с темной прядью вдоль склоненного лица. «Горбун вышел лучше», – заметил Кречмар, вернувшись к другому листу, где был изображен бородатый урод со смело прочерченными морщинами. «Да, талантлив», – добавил он, захлопнув папку. И все. Он ничего не понял.

И сейчас его тряс озноб, он ходил по кабинету и смотрел в окно, и справлялся о времени у всех часов в доме. Магда уже опоздала на двадцать минут. «Подожду до половины и спущусь на улицу, – прошептал он, – а то уже будет поздно, поздно, – у нас так мало времени...»

Окно было открыто. Сиял мокрый весенний день, по желтой стене дома напротив струилась тень дыма из теневой трубы. Кречмар высунулся по пояс, опираясь пальцами о подоконник. «Боже мой, следовало ей твердо сказать: ко мне нельзя». В это мгновение он завидел ее, – она переходила улицу, без пальто, без шляпы, словно жила поблизости.

«Есть еще время сбежать, не пустить», – подумал он, но вместо этого вышел в прихожую и, когда услышал ее легкий шаг на лестнице, бесшумно открыл дверь.

Магда, в коротком, ярко-красном платье, с открытыми руками, улыбаясь, взглянула в зеркало, потом повернулась на одной ноге, приглаживая затылок. «Ты роскошно живешь», – сказала она, сияющими глазами окидывая широкую прихожую, пистолеты и сабли на стене, прекрасную темную картину, кремовый кретон вместо обоев. «Сюда?» – спросила она, толкнув дверь, и, войдя, продолжала бегать глазами по сторонам.

Он, замирая, взял ее одной рукой за талию и вместе с ней глядел на люстру, на шелковую мебель, словно и сам был чужой здесь, – но видел, впрочем, только солнечный туман, все плыло, кружилось, и вдруг под его рукой что-то дивно дрогнуло, бедро ее чуть поднялось, она двинулась дальше. «Однако, – сказала она, перейдя в следующую комнату, – я не знала, что ты так богат, какие ковры...»

¹⁰ Это место, начиная со слов «И он согласился», отсутствует в книжном издании романа. По всей видимости, оно выпало из текста книги по недосмотру, поскольку имеет значение для ее сюжета (Кречмар готовится принять Магду в своей квартире). Восстановлено по журнальному изданию романа («Современные записки». 1932. Кн. XLIX. С. 69).

Буфет в столовой, хрусталь и серебро так на нее подействовали, что Кречмару удалось незаметно нащупать ее ребра и – повыше – горячую, нежную мышцу. «Дальше», – сказала она, облизнувшись. Зеркало отразило: бледного, серьезного господина, идущего рядом с девочкой в красном платье. Он осторожно погладил ее по голой руке, теплой и удивительно ровной, – зеркало затуманилось... «Дальше», – сказала Магда.

Он жаждал поскорее привести ее в кабинет, сесть с ней на диван; вернись жена, все было бы просто: посетительница, по делу...

«А там что?» – спросила Магда.

«Там детская. Ты все уже осмотрела, пойдем в кабинет».

«Пусти», – сказала она, заиграв ключицами.

Он всей грудью вздохнул, словно не дышал все то время, пока держал ее, идя с нею рядом.

«Детская, Магда, – я тебе говорю: детская».

Она и туда вошла. У него было странное желание вдруг крикнуть ей: пожалуйста, ничего не трогай. Но она уже держала в руках толстую морскую свинку из плюша. Он взял это из ее рук и бросил в угол. Магда засмеялась. «Хорошо живется твоей девочке», – сказала она и открыла следующую дверь.

«Магда, полно, – сказал с мольбой Кречмар. – Не юли так. Отсюда не слышно, кто-нибудь может прийти. Все это страшно рискованно».

Но она, как взбалмошный ребенок, увернулась, через коридор вошла в спальню. Там она села у зеркала, перекинула ногу на ногу, повертела в руках щетку с серебряной спинкой, понюхала горлышко флакона.

«Пожалуйста, оставь», – сказал Кречмар. Тогда она вскочила, отбежала к двуспальной кровати и села на край, по-детски поправляя подвязку и показывая кончик языка.

«...А потом застрелюсь...» – быстро подумал Кречмар.

Но она опять отскочила и, увильнув от его рук, выбежала из комнаты. Он кинулся за ней. Магда захлопнула дверь и, громко дыша и смеясь, повернула снаружи ключ (ах, как колотила в дверь бедная Левандовская!..).

«Магда, отопри», – тихо сказал Кречмар. Он услышал ее быстро удаляющиеся шаги. «Отопри», – повторил он громче. Тишина. Полная тишина. «Опасное существо, – подумал он. – Какое, однако, фарсовое положение». Он испытывал страх, досаду, мучительное чувство обманутой жажды... Неужели она ушла? Нет, кто-то ходил по квартире. Кречмар легонько стукнул кулаком и крикнул: «Отопри, слышишь!» Шаги приблизились. Это была не Магда.

«Что случилось? – раздался неожиданный голос Макса. – Что случилось? Ты заперт?» (Боже мой, ведь у Макса был ключ от квартиры!)

Дверь открылась. Макс был очень красен. «В чем дело, Бруно?» – спросил он с тревогой.

«Глупейшая история... Я сейчас тебе расскажу... Пойдем в кабинет, выпьем по рюмке».

«Я испугался, – сказал Макс. – Я думал, Бог знает что случилось. Хорошо, знаешь, что я зашел. Аннелиза мне говорила, что будет дома к шести. Хорошо, что я пришел раньше. Хорошо, знаешь. Я думал прямо не знаю что. Кто тебя запер?»

Кречмар стоял к нему спиной, доставая бутылку коньяку из шкапа. «Ты никого не встретил на лестнице?» – спросил он, стараясь говорить спокойно.

«Нет, я приверженец лифта», – ответил Макс.

«Пронесло», – подумал Кречмар и очень оживился.

«Понимаешь, какая штука, – сказал он, наливая коньяк, – был вор. Этого не следует, конечно, сообщать Аннелизе, но был вор. Понимаешь, он думал, очевидно, что никого нет дома, знал, что ушла прислуга. Вдруг слышу шум. Выхожу в коридор, вижу: бежит человек – вроде рабочего. Я за ним. Хотел его схватить, но он оказался ловчее и запер меня. Потом я слышал, как стукнула дверь, – вот я и думал, что ты его встретил».

«Ты шутишь», – сказал Макс с испугом.

«Нет, совершенно серьезно...»

«Но ведь он, вероятно, успел стащить что-нибудь. Нужно проверить. Нужно заявить в полицию».

«Ах, он не успел, – сказал Кречмар. – Все это произошло мгновенно, я его спугнул».

«Но как же он проник? С отмычкой, что ли? Невероятно! Пойдем посмотрим».

Они прошли по всем комнатам, проверили замки дверей и шкапов. Все было чинно и сохранно. Уже к концу их исследования, когда они проходили через библиотечную, у Кречмара вдруг потемнело в глазах, ибо между шкафами, из-за вертучей этажерки, выглядывал уголок ярко-красного платья. Каким-то чудом Макс ничего не заметил, хотя рыскал глазами по сторонам. В столовой он распахнул створки буфета.

«Оставь, Макс, довольно, – сказал Кречмар хрипло. – Ясно, что он ничего не взял».

«Какой у тебя вид, – сказал Макс. – Бедный! Я понимаю, такие вещи действуют на нервы».

Донеслись звуки голосов. Явились: Аннелиза, бонна, Ирма, подруга Ирмы – толстая, с неподвижным, кротким лицом, но аховая озорница. Кречмару казалось, что он спит, и вот – тянется, тянется самый страшный сон, который он когда-либо видел. Присутствие Магды в доме было чудовищно, невыносимо. Он предложил всем отправиться в театр, но Аннелиза сказала, что утомлена. За ужином он напрягал слух и не замечал, что ест. Макс все посматривал по сторонам, – только бы сидел на месте, только бы не разгуливал. Была ужасная возможность: дети начнут резвиться по всем комнатам. Но к счастью, подруга Ирмы скоро ушла. Ему казалось, что все они – и Макс, и жена, и прислуга, и он сам – беспрестанно как-то расползаются по всей квартире и не дают Магде выскользнуть, выбраться, – если вообще она собирается это сделать. Больше компактности, – сыграем, что ли, в преферанс. В десять Макс наконец ушел. Прислуга замкнула за ним дверь на цепочку, задвинула стальной засов, включила контрольный звонок, – теперь не выбраться, заперта. «Спать, спать», – сказал Кречмар жене, нервно зевая. Они легли. Все было тихо в доме. Вот Аннелиза собралась потушить свет. «Ты спи, – сказал он, – а я еще пойду почитаю. У меня сон пропал». Она дремотно улыбнулась. «Только потом не буди меня», – пробормотала она. В спальне потемнело.

Все было тихо, выжидательно тихо, казалось, что тишина не выдержит и вот-вот рассмеется. В пижаме и в мягких туфлях Кречмар бесшумно пошел по коридору. Странно сказать: страх рассеялся; кошмар теперь перешел в то несколько бредовое, но блаженное состояние, когда можно сладко и свободно грешить, ибо жизнь есть сон. Кречмар на ходу расстегнул ворот пижамы: все в нем содрогалось, – ты сейчас, вот сейчас будешь моей. Он тихо открыл дверь библиотечной и включил свет. «Магда, сумасшедшая», – сказал он жарким шепотом. – Это была красная шелковая подушка с воланами, которую он сам же на днях принес, чтобы на полу, у низкой полки, просматривать фолианты.

VI

Магда сообщила хозяйке, что скоро переезжает. Все складывалось чудесно, — она и не мечтала, что Кречмар столь богат. В воздухе его жилья она почуяла добротность и основательность его богатства. Жена, судя по портретам, нимало не походила на даму с властным лицом, опухшими ногами и тяжелым характером, которую Магда представляла себе; напротив, это, видно, была смирная, нехваткая женщина, которую можно отстранить без труда. Сам Кречмар не только не был Магде противен, — он даже нравился ей. У него была мягкая, благородная наружность, от него веяло душистым тальком и хорошим табаком. Разумеется, густое счастье ее первой любви было неповторимо. Она запрещала себе вспоминать Мюллера, меловую бледность его щек, горячий мясистый рот, длинные, всепонимающие руки. Когда она все-таки вспоминала, как он покинул ее, ей сразу опять хотелось выпрыгнуть из окна или открыть газовый кран. Кречмар мог до некоторой степени успокоить ее, утолить жар, — как те прохладные листья подорожника, которые так приятно прикладывать к воспаленному месту. А кроме всего — Кречмар был не только прочно богат, он еще принадлежал к тому миру, где свободен доступ к сцене, к кинематографу. Нередко, заперев дверь, Магда делала перед зеркалом страшные глаза или расслабленно улыбалась, а не то прижимала к виску подразумеваемый револьвер, и ей сдавалось, что у нее это выходит вовсе не хуже, чем в Холливуде.

После вдумчивых и осмотрительных поисков она нашла в отличном районе неплохую квартиру. Кречмар так растерялся и обмяк после ее визита, что она пожалела его, сразу взяла деньги, которые он ей сунул во время обычной прогулки, — и в подъезде поцеловала его. Пламя этого поцелуя осталось при нем и вокруг него, будто смутный, цветной ореол, в котором он и вернулся домой и который он не мог оставить в передней, как шляпу, и, войдя в спальню, он недоумевал, неужто жена не увидит по его глазам, что случилось.

Но Аннелиза, тридцатипятилетняя, мирная Аннелиза, ни разу не подумала о том, что муж может ей изменить. Она знала, что у Кречмара были до женитьбы мелкие увлечения, она помнила, что и сама, девочкой, была тайно влюблена в старого актера, который приходил в гости к отцу и смешно изображал говор саксонца; она слышала и читала о том, что мужья и жены вечно изменяют друг другу, — об этом были и сплетни, и поэмы, и анекдоты, и оперы. Но она была совершенно просто и непоколебимо убеждена, что ее брак — особенный брак, драгоценный и чистый, из которого ни анекдота, ни оперы не сделаешь. Раздражительность и нервность мужа она объясняла погодой, — май выдался необыкновенно странный, то жарко, то ледяные дожди с градом, который звякал о стекла и таял на подоконниках. «Не поехать ли нам куда-нибудь? — вскользь предложила она. — В Тироль, скажем, или в Рим?» — «Поезжай, если хочешь», — ответил Кречмар. — У меня дела по горло, ты отлично знаешь». — «Да нет, я просто так», — примирительно сказала Аннелиза и отправилась с дочкой смотреть на слоненка в Зоологическом саду.

Другое дело Макс. История с запертой дверью оставила в нем неприятный осадок. Кречмар не только не заявил в полицию, но даже как будто рассердился, когда Макс об этом опять заговорил. Человек, который вступает в рукопашную со взломщиком, не так-то легко примиряется с этим. Макс невольно задумывался, — старался установить, не заметил ли он все-таки кого-нибудь подозрительного, когда входил в дом, направляясь к лифту. Ведь он был наблюдателен, — он заметил, например, кошку, которая выскочила из палисадника, девочку в красном платье, для которой придержал дверь, пучок звуков, доносившихся из швейцарской, где играло радио. Очевидно, взломщик притаился, пока полз вверх тонкостенный лифт. Но откуда все-таки это зыбкое, неприятное чувство?

В молодости он как-то упустил жениться, жил один, был давно в связи с пожилой, увядшей актрисой, которая все еще ухитрялась ему изменять и потом всякий раз валялась у него

в ногах, несказанно его этим смущая; дельно заведовал театральной конторой, слыл отличным гастрономом и немного этим гордился; писал, несмотря на свою толщину, стихи, которые никому не показывал, и состоял в обществе покровительства животных. Супружеское счастье Кречмаров было для него чем-то пленительно святым. Когда, через несколько дней после истории со взломщиком, телефонная Парка соединила его с Кречмаром, пока тот говорил с кем-то другим, Макса так ошеломили невольно перехваченные слова, что он проглотил кусочек спички, которой копал в зубах. Слова были такие: «...не спрашивай, а покупай что хочешь, только не звони мне...» – «Но ты не понимаешь, Бруно...» – привередливо и нежно проговорил женский голос... Тут Макс повесил трубку, судорожным движением, словно нечаянно схватил змею.

Вечером, сидя в смугло-озаренной гостиной с сестрой и зятем, Макс не знал, как держаться, о чем говорить. Он был из тех впечатлительных людей, которые краснеют до слез от чужой неловкости. Теперь же случилось нечто во сто крат худшее.

«Нет, нет, это ошибка, это глупое недоразумение», – уговаривал он себя, глядя на спокойное лицо Кречмара, читавшего журнал, на его мягкие домашние туфли, на тщательность, с которой он разрезал страницы ножом из слоновой кости... «Не может быть... Меня навела на эти мысли тогдашняя история. Слова, которые я выхватил из воздуха, объясняются как-нибудь очень просто. И как же можно обманывать Аннелизу?» Она сидела в углу дивана и подробно, добросовестно рассказывала содержание пьесы, которую недавно видела. У нее были светлые, пустые глаза, лоснился нос, – тонкий, милый нос. Макс кивал и улыбался. Он, впрочем, не понимал ни слова, точно она говорила по-русски или по-испански.

VII

Между тем Магда сняла приглянувшуюся ей квартиру, наняла кухарку, накупила немало хозяйственных вещей, начиная с сервиза и кончая туалетной бумагой, заказала визитные карточки и занялась прихорашиванием комнат. Любопытно, что, невзирая на то, что Кречмар щедро – и даже с каким-то умилением – раскошелится, платил-то он, собственно, вслепую, ибо не только не видал снятой квартирки, но даже не знал адреса: Магда уговорила его, что этак гораздо забавнее, будет ему сюрприз, ничего, что несколько дней пройдет без встреч, она по телефону сообщит ему адрес, когда все будет готово, и тогда он сразу примчится. Прошла неделя, предполагалось, что она позвонит в четверг, и он весь день сторожил телефон. Но телефон блестел и молчал. В пятницу он решил, что Магда надула его и навсегда исчезла. Под вечер явился Макс (эти посещения были теперь адом для Макса), Аннелизы не было дома. Макс сел в кабинете против Кречмара и не знал, о чем говорить. Кречмар давно заметил, что Макс держится странно. «Вероятно, с делами неурядицы», – смутно подумал он. Макс курил и смотрел на кончик своей сигары. Он даже как будто похудел за последнее время. «Выследил, – с минутным содроганием подумал Кречмар. – Ну и пускай. Он мужчина, он должен понять». (Это была очень фальшивая мысль.) Вошла Ирма, и Макс оживился, посадил ее к себе на колени, смешно ёкнул, когда она, садясь, нечаянно въехала кулачком в его упругий живот. Аннелиза вернулась. Кречмару вдруг показалась невыносимой перспектива ужина, длинного вечера. Он объявил, что не ужинает дома, пожал плечами, когда жена ласково спросила, почему он раньше не предупредил, поцеловал дочку в лоб и, торопясь, вышел.

Им владело одно желание: во что бы то ни стало, сейчас же, разыскать Магду, – судьба не имела права, посулив такое блаженство, притвориться, что ничего не обещано. Его охватило такое отчаяние, что он решился на довольно опасный шаг. Он знал, что прежняя ее комната выходила во двор, он знал также, что она там жила со своей теткой. Туда-то он и направился. Проходя через двор, он увидел какую-то горничную, стелившую в одной из нижних комнат у открытого окна постель. «Фрейлейн Петерс? – переспросила она. – Кажется, съехала. Впрочем, посмотрите сами. Пятый этаж, левая дверь».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.